РОЗА ВЕТРОВ[[1]](#footnote-1)

Фрагменты из романа

1

В Смольном после отъезда императрицы приключился форменный переполох. Начальница института вызвала к себе милейшую Анну Дмитриевну. Милейшая Анна Дмитриевна вызвала младших инспектрис. Младшие инспектрисы вызвали классных дам. И только одни классные дамы не вызвали никого, потому что воспитанниц решено было оставить пока в неведении.

Милейшая Анна Дмитриевна предложила некоторое время держать в секрете грядущий прием, поскольку воспитанниц, особенно если надлежащим образом их не подготовить, подобная новость могла «смутить». Произнося это слово, она с большим значением посмотрела на занимавшую вот уже почти семь лет пост начальницы института Марию Павловну, и та сразу с ней согласилась. Эти семь лет давали Марии Павловне то преимущество, посредством которого она могла избежать неприятных ошибок, неминуемых при меньшем опыте руководства одним из самых необычных учебных заведений Российской империи. Девочек обучали по большей части либо дома, либо нигде, поэтому, собрав их в таком количестве в одном месте, любой состав педагогов рисковал однажды столкнуться с тем же примерно явлением, какое повергает в трепет жителей приморского селения, застигнутого врасплох гигантской волной. По отдельности каждая из маленьких волн – это лишь радость для глаз и ещё один повод восхититься совершенством вселенной. Однако стоит им по известной одному океану причине совпасть в своём ритме, обратившись в единое беспощадное целое – и участь несчастных на берегу останется лишь оплакать. За семь лет своего напряженного труда Мария Павловна выучилась уважению к этой дремлющей до поры до времени могучей девичьей силе и знала, что волна должна просто идти за волной.

Сейчас важно было не встревожить воспитанниц, потому что в Смольном за долгие годы сложился близкий к религиозному культ семейства Романовых. Все, что касалось великих князей, княжон и даже отпрысков от морганатических союзов, обретало в стенах института черты божественной избранности, осенявшей воспитанниц волнующим и до головокружения сладостным чувством если не принадлежности, то уж во всяком случае той близости к венценосцам, на которую не могла рассчитывать ни одна обыкновенная девушка извне. Когда же речь, как теперь, шла о самых близких членах семьи императора, от воспитанниц можно было ожидать каких угодно эксцессов. Прежде доходило даже до воровства с тарелок и порчи верхней одежды. Трофеи потом засушивались до состояния мощей, либо пришивались к изнанке собственного платья и в любой момент были наготове, чтобы насмерть сразить всех жалких и никчемных особ, подобным сокровищем не обладавших. Прежняя начальница института передала Марии Павловне в своё время сведения о четырёх как минимум попытках самоубийства среди воспитанниц, причиною коих была единственно упущенная возможность хоть что-то стащить с тарелки зазевавшегося сына, брата или дочери государя. Почившая восемнадцать лет назад матушка нынешнего, как, впрочем, и предыдущего самодержца российского знала об этой страсти смолянок, а потому, собираясь в гости к своей лучшей (после княгини Ливен, разумеется) подруге Юлии Федоровне Адлерберг, которая была тогда начальницей Смольного, непременно одевалась в шубу самой на тот момент нелюбимой из своих фрейлин, после чего невинно улыбалась, когда возвращала истерзанную девицами вещь её опечаленной хозяйке.

– Девочкам пока ничего не говорить, – твердо повторила милейшая Анна Дмитриевна, и все три сидящие перед нею за партами младшие инспектрисы кивнули в ответ как одна. – Господи, там ведь еще эти мальчики будут из Морского корпуса... А у них военная форма... Ума не приложу, как нам быть! Ну да ладно, известите пока классных дам. Я сама составлю список участниц.

«Милейшей» Анну Дмитриевну называли в институте все – от начальницы до самой последней пепиньерки. Сложилось это не в силу душевных свойств, дарованных ей от природы, а по причине большого количества племянниц. Шесть из них ее стараниями содержались и обучались в Смольном на казенный счет, и потому буквально с каждым сотрудником института она была сердечна и мила до невозможности. Временами ей хотелось, конечно же, придушить иную из своих нерадивых коллег, но старшей племяннице Елене уже исполнилось двадцать, и чтобы сделать ее не очень заметной среди тринадцатилетних девочек ее класса, Анне Дмитриевне приходилось использовать все имеющиеся в ее распоряжении прекрасные струны своей души.

Уже к вечеру того дня, когда императрица нанесла свой визит в Смольный, всем в институте стало понятно, что новость о грядущем приеме утаить от воспитанниц не удалось. Попытки уберечь их от волнений были изначально обречены на провал. Обостренное почти тюремным положением чутье этих девочек безошибочно подсказало им –
государыня просто так не приедет. У такого события должна быть причина, при этом очень весомая, а значит, готовится что-то крупное. И в этом непременно примет участие императорская семья.

За обедом предположений было высказано так много, а еды по причине постного дня было так мало, что даже привычные к многолетнему недоеданию старшие девушки испытывали головокружение. День по расписанию был «французский», однако уже к середине до невозможности скудной трапезы все наперебой говорили только по-русски. В самом начале спора они еще нервно передавали друг дружке большой и уродливый язык, вырезанный из картона для тех, кто осмеливается нарушать правило, однако после второй или третьей девушки, которая послушно повесила его себе на шею, они просто сжимали его в руке, а затем и вовсе затолкали куда-то под стол.

– Нас повезут во дворец, – бормотала, закатывая глаза, неестественно бледная княжна Долицына. – Вот увидите! Мне давеча папенька намекал.

Большинство остальных девушек тоже не сияли румянцем, но в их случае бледность была результатом натурального течения жизни, приключившейся с ними по воле их бессердечных родных. Они плохо ели, редко бывали на солнце, мало гуляли и много грустили, тогда как дочь князя Долицына и светлейшей княжны Суворовой грустила в основном только для виду. Питалась она отдельно от всех и весьма обильно, а лицо густо покрывала белилами, чтобы не выделяться среди однокашниц. Чувство меры, впрочем, всегда подводило ее, поэтому она выделялась в другую сторону – гробовщик, ненароком заглянувший на занятия в Смольный, наверняка счел бы ее своим скорым клиентом.

– Никуда нас не повезут, – отвечала ей княжна Утятина, и в голосе ее больше слышалось раздражение, чем несогласие.

Отец этой худой зеленоглазой девицы тоже был князем, но не генерал-майором, как у Долицыной, а только прапорщиком. Однако этот привычный для нее жизненный перекос на чужую сторону сейчас полностью затмевался тем, что увлеченная общим порывом Долицына явилась обедать со всеми. По мнению охваченной ревностью княжны Утятиной это было нечестно. Порыв принадлежал тем, кто жил общей жизнью, а раз уж кто-то питается отдельно, то пусть и не вмешивается, и так ведь все знают, кто в этом выпуске окончит с екатерининским шифром. Материального выражения все эти чувства, разумеется, не находили ни в словах, ни в поступках, но молчаливо при этом сильно имелись в виду. То есть если княжна Утятина и называла княжну Долицыну «бессовестной душечкой» или того хуже – «душечкою поганой», то происходило это исключительно в глубине ее маленького сердца, расстроенного общей несправедливостью жизни, а также наличием обязательных постных дней в Смольном по средам и пятницам –
даже когда у всех остальных православных никакого поста нет.

Почти все девушки за столом так или иначе принимали участие в этом треволнении – одни множили версии грядущего, другие с головой бросались в омут конфликта двух княжон, становясь либо «утятинками», либо «долицынками» – и только одна маленькая блондинка
с правильными чертами лица и выразительными голубыми глазами сосредоточенно ковыряла вилкой кусок отварной рыбы, прозванной вечно голодными смолянками «мертвечиной». Временами, когда высказывалась какая-то уже совсем очевидная глупость, ей не удавалось сдержать улыбку, однако взгляд ее при этом оставался таким же сосредоточенным, отчего и внешнее и внутреннее существо в ней делилось ровно напополам. Эта девушка умела быть сразу двумя девушками – очень серьезной и той, что смеется.

– А почему Катя Ельчанинова все время молчит? – с вызовом вдруг сказала княжна Долицына, заметив ту самую улыбку после своего очередного и на сей раз уже совершенно бредового предположения.

– Я не молчу, – ответила блондинка. – Я слушаю.

– А это два разных дела?

– Да, – Катя с уверенностью кивнула. – Молчат, когда сказать нечего или когда мнением других не дорожат. А слушают, когда интересно.

– И что же вам интересно? – с подозрением нахмурила бровки княжна.

– Всё, – пожала плечами Катя. – Мне вообще всё в жизни интересно.

К своим пятнадцати нежным и отчасти печальным годам Екатерина Ивановна, как любил называть ее в детстве недавно умерший батюшка, знала о себе немного – туманным оставался для нее собственный характер и устремления, сильный она человек или слабый, красивый или же нет и на что ей рассчитывать дальше. Все это пребывало пока в смутном и таинственном состоянии, но в одном своем качестве она уже теперь была уверена наверняка. Катя знала, что она другая. То есть она, конечно, не сомневалась, что она такая же девочка, как и все остальные воспитанницы Смольного, и что ее ожидает примерно такая же судьба, однако в чем-то существенно важном она от них отличалась. Ее, к примеру, не замечали дурные люди. Классная дама, пришедшая к ним около года назад и в первые же дни определенная всеми воспитанницами как существо самое неприятное, была крайне удивлена, обнаружив Катю среди своих подопечных через несколько месяцев после своего появления в институте. Она буквально не видела ее более полугода. Смотрела на Катино лицо, на ее платье, на безукоризненный передник и вместо всего этого видела пустой стул. То же самое происходило во время свиданий с родителями. Некоторые из них пытались даже пройти сквозь нее, считая, что перед ними ничего нет, и всякий раз после таких происшествий она узнавала об этих людях что-нибудь стыдное. По ночам девочки в дортуарах испытывали иногда особенно острое одиночество и в такие моменты могли шепотом рассказать о своих родителях такое, о чем при дневном свете у них бы вряд ли повернулся язык.

Сознавая свою странность, Катя и в институтском быту не вела себя как остальные воспитанницы. Многолетние традиции Смольного совершенно не коснулись ее. У Екатерины Ивановны, к примеру, напрочь отсутствовал предмет обожания, который просто обязана была избрать себе каждая смолянка, переходившая в старший класс. Ни император, ни учителя, ни классные дамы не стали для нее «божеством», чьи инициалы она должна была повсюду вырезать ножиком или выкалывать булавкой. Она не проходила через ритуальные мучения, чтобы оказаться «достойной» своего предмета, – не ела в знак любви к нему мыла, не пила уксус, не пробиралась по ночам в церковь и не молилась там за него, не чинила никому перья, не дарила бесконечных подарков, не шила тетрадки – словом, жила какой-то совершенно неправильной и непонятной здесь жизнью.

Все эти странности происходили с нею по причине абсолютно недетского и как будто скрытого от остальных понимания того, чем на самом деле являлись воспитанницы Смольного института. Почти каждая девочка, живущая тут, была не нужна своим родным. У одних, как у Кати, родители давно жили врозь. Других, как княжну Долицыну, поместили сюда от неловкости перед обществом, потому что мама ее была вовсе не княгиня, а тоже княжна. Третьих по смерти родителей просто-напросто некому было кормить, и только совсем небольшой отряд четвертых пребывал здесь в полной гармонии, поскольку происхождение их было столь невысоким, что сам статус «благородных девиц» уже являлся для них главной наградой в жизни. Приличное общество, производившее на свет этих девочек, рассматривало их по той или иной причине как побочный продукт и ровно поэтому полагало, что, в отличие от их сверстниц более чистой породы, предназначенных для дальнейшего ее улучшения, этим вполне можно было дать образование. Оно, с одной стороны, служило подспорьем для них, чтобы выжить, а с другой – помогало понять и принять тот очевидный для просвещенного человека факт, что главные роли в обществе теперь не для них.

Иван Иванович Бецкой, стоявший у истоков Смольного, сам был внебрачным ребенком, и, если бы не принадлежность к мужескому полу, он с легкостью мог разделить безвестную судьбу большинства своих будущих протеже. Тем не менее жизнь его сложилась в итоге наилучшим для него образом, а суровый, почти казарменный быт воспитанниц института, возможно, и не был никоим образом связан с его личным желанием подвергнуть остальных незаконнорожденных, сирых и прочих беспомощных всем тем испытаниям, через которые в детстве пришлось пройти ему самому. Неизвестно, практиковались ли в кадетском корпусе Копенгагена, куда отправил его отец, утренние обливания ледяной водой и какая температура поддерживалась в комнатах кадетов зимою, но в Смольном девочки спали под тонкими одеялами при температуре не выше шестнадцати градусов, а воду для каждодневного обливания доставляли им в огромных бочках прямиком из Невы. В зимние месяцы служители с этой целью не давали замерзнуть широкой проруби рядом с институтом, и по ночам в дортуары долетало иногда влажное чавканье их топоров.

Вполне возможно, что Иван Иванович действительно был ни при чем. Многолетнюю пытку холодом могла ввести Екатерина II, надоумившая Бецкого в 1764 году основать «воспитательное общество благородных девиц». Известно, как она жаловала императрицу Елизавету Петровну за отнятого у нее тотчас же после родов сына и за душную ее заботу о нем. Государыня держала новорожденного Павла в колыбельке, обитой изнутри мехом чернобурой лисы, укрывать велела двумя одеялами, окна у него в комнате открывать не позволяла вообще. Екатерина заставала младенца мокрым от пота, вялым, плаксивым и красным. Малейший сквозняк приводил ко всем, какие только были возможны, простудам, и долгое время несчастная мать страдала от мысли, что сын ее – не жилец. Так она выучилась ненавидеть тепло, а девочкам в Смольном пришлось годами мириться с холодом.

Впрочем, на следующее утро после визита Александры Федоровны воспитанницы выстроились к обливанию без привычных жалоб, отнекиваний, отговорок и хмурых лиц. Все лица и личики, напротив, светились ожиданием чего-то удивительного и даже как будто волшебного, словно каждая из этих Золушек только что побеседовала со своей личной феей, и та уже рассказала про платье, про туфельки и про бал. Девочки в длинных ночных рубашках переступали босыми ногами по влажному кафелю, шушукались, по очереди подходили к бочке, зажмуривались, несильно вздрагивали и, получив на голову и плечи ковшик невской воды, спешили вернуться к подругам. Мало кто уходил переодеваться в сухое, поэтому очень скоро у выхода в коридор сделалась небольшая толпа из промокших и оживленно перешептывающихся наяд. Одни лишь «парфетки», целиком посвятившие себя достижению совершенства и не имевшие, следовательно, никакой возможности нарушать заведенный порядок, уходили с прямыми от злости спинками прочь, хотя остаться им, конечно, хотелось до слез и даже, наверно, еще сильнее.

В числе причин подобного энтузиазма была и стоявшая в Петербурге вот уже несколько дней теплая погода, из-за которой вода в Неве успела прогреться до необычного в мае состояния, почему бочка посреди умывальной комнаты не пугала никого так, как всегда, но все же главным поводом к ажитации среди девочек явилось другое. За ночь незримые институтские боги, поселившиеся в Смольном со дня его основания и неустанно заботившиеся о воспитанницах, успели довести до сведения всех и каждого истинную причину визита императрицы. Физически это проявилось в том, что кто-то, скорей всего, проболтался, а кто-то подслушал или одна из классных дам не удержалась и намекнула своим фавориткам – так или иначе к моменту утренних обливаний все уже знали о грядущем приеме в Смольном с участием воспитанников Морского корпуса и царской семьи. Девочки редко покидали институт, почти не видели посторонних, поэтому новость произвела тот примерно эффект, что бывает в казармах гвардии при объявлении войны, – все были в полном восторге.

Само возвращение средиземноморского отряда кораблей как непосредственный повод для надвигающегося великого события воспитанниц если и волновало, то далеко не в той степени, что мысли о кадетах и гардемаринах, а главное – о «божествах». У многих девочек имелся свой предмет обожания в императорском доме, и теперь все они страшно беспокоились на предмет собственного участия в приеме. Еще нужно было непременно обсудить, какое «божество» приедет, а какое нет, будет ли общий с гардемаринами танец, что приготовить «божествам» в подарок – словом разойтись они никак не могли. Выйти из умывальной комнаты и разделиться на свои отдельные жизни сейчас было равносильно для них святотатству – все равно что разрезать огромную и прекрасную картину великого художника на маленькие кусочки, а потом разнести эти фрагменты по своим классам и дортуарам, имея возможность любоваться крохотною частичкой того полотна, которое целиком созерцать они могли только все вместе.

Среди наяд в мокрых рубашках выделялась княжна Долицына. Рубашка ее была совершенно сухой, и она все никак не могла заставить себя встать под ледяной ковш. То и дело она становилась в очередь к бочке, а затем, приблизившись к ней, со вздохом разочарования отходила прочь. В обычный день она бы вообще сюда не зашла, но сегодня принять участие в обливании было необходимо. В институте княжна слыла «отчаянной», то есть такой, которая не соблюдает всех правил – может быстро пройти по коридору или громко разговаривать в классе, однако в свете грядущего события этот статус, ничуть не беспокоивший ее раньше, мог сильно ей навредить. В ближайшие дни начальница института должна была утвердить список воспитанниц для участия в совместном приеме, и не попасть в заветный список означало погибнуть.

– Хотите, я вам свою рубашку отдам? – предложила ей Катя Ельчанинова, отходя от бочки и заметив очередной маневр княжны. – Я могу еще раз облиться, мне не трудно.

Долицына с подозрением уставилась ей в лицо, но не обнаружила на нем следов насмешки. Ельчанинова смотрела на нее ровным открытым взглядом и, судя по всему, действительно предлагала помощь. С мокрых волос ее по щекам и губам красиво сбегали крупные сверкавшие капли.

– Благодарю вас, не стоит, – поджала губы княжна. – Мне надо самой.

– Как хотите.

Екатерина Ивановна кивнула и направилась к выходу. Она хоть и не была «парфеткой», задерживаться в умывальной комнате тоже не стала. Ей ничуть не хотелось шушукаться с остальными насчет приема. Ночью она видела дурной сон про каких-то туземцев и людоедов, пытавшихся ее изловить, отчего до сих пор чувствовала себя скверно, однако даже не это являлось причиной невольной ее отчужденности. По смерти батюшки ее все чаще тревожили мысли о будущем. До выпуска из института оставалось чуть более двух лет, и многое указывало на то, что матушка по состоянию своего здоровья тоже вряд ли дождется этого события. Из родных у Кати были еще дядя и сестра, но их собственное положение в обществе не позволяло увидеть в них жизненной опоры. Катя явилась бы для них обузой, а значит, рассчитывать в дальнейшем ей приходилось на одну лишь себя. На фоне подобных мыслей экзальтация девочек в умывальной комнате выглядела в ее глазах если не глупостью, то уж во всяком случае ненужной и вычурной наивностью.

В свою очередь, княжна Долицына, не бывавшая во всю свою жизнь даже одной секунды в состоянии наивности, уходить все же не спешила. Нынешней весной она дважды меняла свой статус «отчаянной» на положение «мовешки», то есть такой особы, для которой моветон – привычное дело, поэтому облиться сейчас ей надо было непременно. В марте она отличилась тем, что на общей молитве развязала банты на передниках у двух стоявших на коленях воспитанниц младшего класса и связала их между собой, что привело в результате к падению, хохоту, крикам, слезам и неразберихе. В апреле классная дама застала княжну за порчей институтской Библии. Все места в Святом Писании, где упоминалась седьмая заповедь, были в Смольном тщательно заклеены полосками плотной бумаги, но Долицыной так хотелось своими глазами прочесть слово «прелюбодеяние», что она при помощи украденной из столовой вилки взялась отколупывать эти отвердевшие за долгие годы «фиговые листочки». При этом она почему-то не ограничилась одним экземпляром. До того как ее застали за актом непристойного вандализма, княжна успела расковырять восемь Библий. Очевидно, ей было важно донести слово Божье во всей его целостности до максимального числа воспитанниц.

Осенив себя крестным знамением и выдохнув, как будто собиралась шагнуть в прорубь, Долицына снова встала в конец очереди. Именно в этот момент за спиной у нее произошла самая безобразная за последние десять лет в институте сцена. Буквально в метре от княжны стояла одна из тех девочек, что упали не так давно на молитве из-за привязанных бантов. Глаза ее темнели двумя сгустками ненависти. Проходившая мимо этой девочки Катя, которая уже открыла дверь, чтобы выйти из умывальной комнаты, невольно задержала движение, поняв, что сейчас произойдет непоправимое.

Девочку с горевшими глазами, насколько помнила Ельчанинова, звали Даша. Она была дочерью известного поэта Тютчева и вместе со своею сестрой состояла в «сером» классе. Воспитанницы этой группы носили серые платья с белыми передниками и по старшинству следовали за выпускным «белым» классом. Возраст их в среднем был двенадцать-тринадцать лет. Все, что произошло в следующие несколько минут рядом с бочкой для обливания, в официальном отчете потом было уклончиво отнесено на счёт вероятной эпилепсии. В частных же разговорах и классные дамы, и учителя, и сама начальница больше склонялись к мотиву ревности, возникшей между воспитанницами из-за участия в грядущем приеме. Однако ревность, если она имела место, была тут совершенно иного рода. Припадок у Даши Тютчевой, в результате которого она нанесла заметные телесные повреждения стоявшей рядом с ней Лене Денисьевой, а также и самой себе, действительно напоминал эпилептический и потому сильно напугал всех девочек, но, пожалуй, в гораздо большей степени их напугала отчетливая направленность этого припадка. Даша так яростно, так прямо и с такой нескрываемой ненавистью атаковала Денисьеву, что сомнений быть не могло – она хотела нанести максимальные повреждения. От серьезных увечий жертву неожиданного нападения уберегла, пожалуй, только значительная разница в возрасте. Денисьевой недавно исполнилось двадцать лет, и это преимущество сыграло решающую роль в исходе их столкновения. Если бы девушки оказались ровесницами, Тютчева имела бы неоспоримое превосходство – и в силу своего первенства в атаке, и по причине схожего с безумием состояния.

Об истинной подоплеке этого происшествия во всем институте догадывались только двое – милейшая Анна Дмитриевна и Катя Ельчанинова. Правда, знали они разные участки этой истории, но, если бы им удалось объединить свои фрагменты, картина могла проступить почти целиком. Лена Денисьева была родной племянницей милейшей Анны Дмитриевны и обучалась в одном классе с маленькими девочками исключительно благодаря протекции тетки. Она, разумеется, не находила себе подруг среди окружавших ее детей, а потому невольно тянулась к воспитанницам выпускного класса, хотя даже те в среднем были на пять лет моложе ее. Тем не менее она по очереди предлагала каждой из них свою дружбу, и Катя оказалась тем самым человеческим существом, которое этих предложений, наконец, не отвергло. В порыве признательности Денисьева показала ей тетрадь со своими литературными опытами, где среди прочего Катя прочла следующее: «Если бы Вы знали мое подлинное к Вам отношение, Вы бы не приходили больше сюда… Вы бы прилетали как облако – парили бы над землей и влетали в Смольный сразу через окно дортуара во втором этаже». Из прочитанного Катя сделала вывод, что Денисьева влюблена и что чувства ее на обычное институтское «обожание» совсем не похожи.

Полюбив занятия музыкой, Екатерина Ивановна на каком-то своем еще детском уровне придумала для себя понимание счастья. Все окружавшие ее люди – от воспитанниц до классных дам – часто о нем говорили, уверенно предлагая самые различные варианты, но Катю в них всегда настораживала именно эта уверенность. Твердая формула счастья, облеченная в конкретные образы и желаемые материальные объекты, казалась ей неживым предметом, из которого ускользнула правда, и только музыка до известной степени совпадала с ее представлением о счастье. Неуловимость этого состояния, сама его мимолетность, вызывали в ней то же самое ощущение, какое возникает при легком сдвиге акцента с сильной доли такта на слабую. Катя чувствовала, что не только счастье, но и вся жизнь – ее секрет, ее сила и в то же время летучесть –
кроются где-то там, в этом несовпадении ритмического акцента с метром. После прочтения навязанного ей чужого дневника она явственно ощутила тот самый сдвиг, то самое смещение, куда угодила счастливая и неспособная скрыть свое счастье Лена Денисьева.

Со своей стороны, милейшая Анна Дмитриевна, никогда не читавшая дневника великовозрастной племянницы, уловила приближение грозы по другим приметам. Проверяя журналы родительских посещений, она обратила внимание на участившиеся с некоторых пор визиты поэта Тютчева. По сравнению с остальными родителями он стал бывать в Смольном слишком часто. Первое время он появлялся в сопровождении своей новой жены, приходившейся мачехой его дочерям, но та была уже очень беременна и потому вскоре сочла более ненужным казаться заботливой матерью для двух сирот.

Разговоры старшей инспектрисы с классными дамами не выявили никаких проблем у дочерей коллежского советника Тютчева. Девочки ни на что не жаловались, не имели конфликтов, более того – они даже не всегда приходили вместе на свидания к зачастившему вдруг отцу. У милейшей Анны Дмитриевны сложилось впечатление, будто их тяготили эти его приходы, и в итоге они решили поделить их между собой как наскучившие дежурства. Чтобы разобраться во всем самой, она стала присутствовать на каждом свидании с родителями. Ничего необычного, кроме самого факта постоянных визитов Тютчева, там не происходило. Со своими девочками он общался в рутинной манере. Не выглядел обеспокоенным, не расспрашивал об их положении. Он скорее даже скучал от необходимости говорить с ними и нисколько не удивлялся тому, что они приходят поодиночке.

Милейшая Анна Дмитриевна стала подозревать дурное, когда заметила реакцию Тютчева на появление Лены Денисьевой в комнате для свиданий. Она сама назначила старшую свою племянницу на эти дежурства, сделав их постоянными, чтобы все в институте видели, как она с нею строга. Та не была еще пепиньеркой, однако все возложенные на нее обязанности исправляла с необходимым и должным тщанием. Все родители были ею довольны, а самым из них довольным выглядел всегда поэт Тютчев. При ее приближении он вставал, помогал сдвинуть стул или участливо придерживал дверь, торопливо пройдя иногда для этого лишний десяток метров и оставив будто не заметившую его ухода, давно молчавшую и смотревшую куда-то в окно дочь. Впрочем, больше всего милейшую Анну Дмитриевну обеспокоило даже не это. Она вдруг увидела, до какой степени изменилась дочка ее рано овдовевшего брата. Робкая прежде, боявшаяся из-за своего неподходящего возраста в институте буквально всех и вся, Лена Денисьева заметно преобразилась. Страхи оставили эту девушку, как оставляют они человека, понявшего, что смерть – это всего лишь старшая сестра сна, и если главная тревога ночью – боязнь не уснуть, то, значит, и в жизни основным опасением должна быть мысль, что ты никогда не умрешь, и само приближение к смерти тогда служит отрадой.

Помимо всего подмеченного и угаданного милейшей Анной Дмитриевной эта некрасивая история содержала еще много такого, о чем ни сама старшая инспектриса, ни Катя Ельчанинова не знали и знать не могли. Внезапное нападение Даши Тютчевой на великовозрастную одноклассницу имело более глубокие корни и продиктовано было далеко не одними визитами в Смольный ее поэтически настроенного отца. Федор Тютчев являлся человеком поэтического склада в самом широком смысле – не ограниченном его профессиональными занятиями литератора. Жизнь клубилась вокруг него посильней и намного жарче, нежели в любой романтической поэме. Женщина, родившая ему трех девочек, две из которых отданы были теперь на воспитание в Смольный, потеряла для него интерес уже в самые первые годы их совместной жизни. Тютчева унесли куда-то в поднебесную высь бурные воды нового чувства, а его супруге не осталось более ничего, кроме попытки заколоться бутафорским ножом. Ударив себя несколько раз в грудь и в шею кинжалом от маскарадного костюма, она все же сумела пораниться до крови и тем самым, очевидно, пробудила к жизни по-настоящему темные силы. Когда Тютчев умчался вслед за новой вечной любовью в Турин, жена его собрала трех своих маленьких дочек, уселась вместе с ними на пароход, намереваясь порадовать мужа воссоединением всей семьи, но в итоге едва не сгорела заживо. Если бы не путешествующий на том же пароходе юный литератор Тургенев, она, скорее всего, погибла бы в страшном пожаре, который охватил судно недалеко от Любека. Тургенев помог спасти и детей. По приезде в Турин выяснилось, что денег у Тютчевых практически не осталось, в то время как новая и, как водится, вечная любовь поэта располагала весьма значительным состоянием. Неясно – по причине ли этой внезапной нищеты, унижения, ревности, перенесенного ли на горящем корабле ужаса, или просто потому что так было удобно всем остальным – но буквально через три месяца Элеонора Тютчева в жесточайших страданиях умерла, а ее безутешный супруг, поседевший, как говорили, за одну ночь у ее гроба, женился на богатой и красивой баронессе уже на следующий год. Девочек весьма скоро определили в Смольный, и на третьем году их обучения в классе у них появилась Лена Денисьева. Проникнутый поэзией до корней волос Тютчев неожиданно превратился в заботливого отца, и в конце концов его дочь бросилась в умывальной комнате на свою одноклассницу. Двенадцатилетняя Даша Тютчева в силу своего малого возраста могла и не знать обо всех этих давних событиях, однако события эти своим неприятным чередом все же произошли, никуда не исчезли, но накопились, а затем обнаружились в ее жизни, стали каким-то образом ей ясны, и охватившая ее от этой ясности невыносимая тревога привела наконец к безобразной сцене во время обливания.

На следующий день после происшествия были названы имена девушек, участвующих в совместном приеме по поводу возвращения средиземноморской эскадры. Технически отряд из трех кораблей, разумеется, эскадрой назвать было нельзя, однако для обитательниц института это являлось простительным допущением. Слово «эскадра» пленяло их гораздо сильней, чем какой-то глупый и незначительный «отряд», в котором не слышалось ни крика чаек, ни шелеста парусов, ни тяжелой поступи мужских шагов по палубе и по трапам.

Княжна Долицына, за свои прегрешения, разумеется, не попавшая в список избранных, прорыдала до самого вечера. Начала она в столовой, куда снова пришла на общий завтрак в расчете услышать свою фамилию, продолжила на уроках, не отвечая на змеиное посвистывание классной дамы, не успокоилась во время обеда, придя на него зачем-то опять вместе со всеми, хотя для нее как всегда был накрыт отдельный стол, а затем залила горючими слезами подушку себе, Кате Ельчаниновой и еще двум девочкам в дортуаре. Утомленная этим неостановимым потоком Катя попросила ее наконец прерваться хотя бы на полчаса и отправилась к милейшей Анне Дмитриевне.

На стук в дверь Кате никто не ответил. Решив, что в кабинете никого нет, она вошла, чтобы дождаться старшую инспектрису у нее на рабочем месте, но уже в следующее мгновение застыла от неловкости на пороге открытой двери. Кабинет не был пуст. За столом, низко опустив голову, сидела Лена Денисьева, а прямо над нею тяжелым коршуном нависала милейшая Анна Дмитриевна. Их разговор был настолько тих, что Катя не услышала его из коридора, но при этом настолько напряжен, что слова, произнесенные старшей инспектрисой Смольного института, ложились на поникшие плечи девушки словно гири, и Катя отчетливо разобрала их, стоя довольно далеко.

– Под монастырь подведешь, гадина…

– Простите, – шевельнулась на пороге Катя.

Милейшая Анна Дмитриевна подняла красное от напряжения лицо.

– Что вам?

– Я… – Катя беспомощно замолчала.

– Вы разве не видите – мы разговариваем?

– Да, да, извините… Я просто хотела…

– Что вы хотели?

Катя набрала в грудь воздуха и одним разом выпалила:

– Нельзя ли, чтобы княжна Долицына вместо меня участвовала в приеме?

Милейшая Анна Дмитриевна некоторое время неподвижно смотрела на нее, а затем, не задав ни одного вопроса, кивнула.

– Можно... Только сейчас, пожалуйста, закройте дверь.

2

Утро, избранное камергером двора Его Императорского Величества коллежским советником Фёдором Ивановичем Тютчевым для визита в Морской корпус, выдалось в Петербурге уже по-настоящему майским. Учебный плац перед зданием офицерской казармы был так щедро полит солнцем, что два деревца рядом с будкой дежурного как будто робели отбрасывать тень. Сама будка тоже совершенно тонула в золотистом сиянии словно в глубокой воде, как это бывает с будками и с водой во время петербургских наводнений.

По случаю хорошей погоды построение кадетских рот решено было провести не позади казарм, как обычно, а на плацу, чтобы каждый проходивший мимо Морского корпуса мог насладиться видом бравых воспитанников, сверкавших на солнце металлическими пуговицами, пряжками и кокардами. Лучики расплавленного золота, источаемые кадетской амуницией, тысячекратно умножали сияние майского утра, и всякий заглядевшийся на ровнехонькую шеренгу прохожий вынужден был прикрывать глаза рукой от этого нестерпимого великолепия юности, флота и дисциплины.

Единственным человеком, которого совершенно не занимало это зрелище, был Фёдор Иванович Тютчев. Казалось, что всеобщая радость жизни, буквально разлитая в воздухе, напротив, безмерно раздражала его, и с целью укрыться от всего этого как можно надежней он отступил подальше за будку с тем, чтобы между ним и кадетской шеренгою непременно оставалось это невзрачное строение. Он ждал, когда за ним придут от капитан-лейтенанта Нефедьева, служившего некогда с его пасынком Карлом и занимавшего теперь в Морском корпусе значительный пост. Интерес к стоявшим неподалёку кадетам Тютчев проявил, только услышав, как пожилой и слегка горбатый мичман песочит одного из этих мальчишек. Зычный голос много послужившего на кораблях моряка перекрывал общий гомон команд, летевших над плацем от одной роты к другой.

– Кадет Бошняк! Стоять смирно!

Вытянувшийся буквально в струну перед строем юноша постарался вытянуться ещё больше, задрав подбородок уже совсем куда-то в сияющее майское небо, но его наставнику и близко не было достаточно этих усилий. Судя по его лицу и голосу, он вряд ли утихомирился бы даже в случае полного превращения кадета в адмиралтейский шпиль.

– Как стоишь?! – кричал он. – Почему опоздал на общее построение?

– Господин мичман... – попытался ответить кадет.

– Молчать! Снова где-то в углу свои стишонки пописывал?!

Кадет горестно сник, и в этот момент к Тютчеву подбежал дежурный матрос.

– Извольте пройти! Вас ожидают.

Шагая за своим провожатым по плацу, коллежский советник ещё оборачивался в попытках уловить окончание спора, однако за гвалтом команд и строевым шагом начавших перестроение рот ему ничего не было слышно.

– Фёдор Иванович! Дорогой! – радушно встретил его на пороге своей комнаты капитан-лейтенант Нефедьев. – У меня просто слов нет, как я рад вас увидеть.

– Вам и не надо слов, – без улыбки ответил Тютчев. – Слова все у меня.

Морской офицер на секунду опешил, а затем понимающе рассмеялся:

– Ну да, ну да! Вы же – поэт. Вам, как говорится, и карты в руки.

– Я не играю в карты, – по-прежнему сухо отвечал гость, показывая, что не намерен вступать в обмен пустыми любезностями.

Офицер, впрочем, справился и с этой неловкостью, решив, очевидно, не обращать внимания на странности коллежского советника. Ему на самом деле было приятно, что тот вдруг явился к нему на службу и теперь капитан-лейтенант мог похвастаться этим при случае перед знакомыми дамами.

Пяти минут им хватило на обсуждение нынешних дел Карла, который с недавних пор служил в русском посольстве в Дрездене и собирался теперь в Ригу, чтобы забрать оттуда своего больного брата, после чего возникла неприятная пауза. Тютчев просто замолчал, глядя в окно, а Нефедьев не знал, нужно ли ему говорить одному, и самое главное – о чем. Наконец, он нашёлся предложить своему гостю чаю, но тот лишь махнул рукой и прямо заговорил о том, ради чего пришёл.

– У меня, знаете ли, на днях умер отец...

– О, примите мои соболезнования, – капитан-лейтенант начал привставать с кресла, но гость его раздраженно поморщился.

– Не надо этого ничего, – сказал Тютчев. – Никто не в силах понять, что я испытываю... Однако же по причине траура мне будут непозволительны определённые увеселения, тогда как я обещал быть на приеме в Смольном по поводу возвращения средиземноморской эскадры.

– Отряда, – невольно поправил его капитан-лейтенант.

– А это имеет значение? – перевёл на него Тютчев поблескивание своих очков, за которыми, как в морском аквариуме, шевельнулись два тусклых моллюска.

– Три корабля – это не эскадра.

– Прекрасно. Пусть будет по-вашему… Вместе с отрядом, – слово «отряд» он выделил своим скрипучим голосом так звучно, словно кто-то наступил мокрой ногой на резиновую игрушку, – вместе с отрядом в Петербург возвращается Его Императорское Высочество великий князь Константин.

– Да, да, мне это известно.

– Потрудитесь меня более не перебивать.

– Простите, Фёдор Иванович, я умолкаю.

Тютчев сделал ещё одну внушительную паузу, которая должна была окончательно указать капитан-лейтенанту его место, и только после этого соизволил продолжить:

– Воспитанницы института готовят по этому случаю концерт. Одна из них обратилась ко мне с просьбой написать соответствующее данному событию стихотворение. Она обучается в одном классе с моими дочерьми и хочет прочесть поэтическое произведение великому князю. Стихотворение готово, однако по вышеуказанной причине я не смогу присутствовать на приеме и поэтому желал бы передать его с одним из ваших воспитанников, направляющихся в Смольный для репетиции.

О том, что его траур был не единственным препятствием к посещению института, коллежский советник предпочёл умолчать. Милейшая Анна Дмитриевна после тяжелого разговора со своей племянницей, нечаянным свидетелем которого недавно стала Катя Ельчанинова, нанесла визит самому Тютчеву. Беседа их была короткой, но энергической. Путь в Смольный Фёдору Ивановичу отныне был заказан. Дочерей могла навещать только его жена. Тютчев решил, что со временем он одолеет это препятствие, поскольку никакая старшая инспектриса не бывает вечной, и у него, конечно, имелись возможности повлиять на её судьбу, но до поры все же требовалось привлекать к себе меньше внимания. Искусство дипломатии он ставил выше своего поэтического дара, и там, где поэт уже не справлялся с поставленной задачей, на сцену немедленно выходил дипломат. Задача же у обоих была одна – заставить всех окружающих если не поклоняться, то хотя бы смиренно служить ему.

– Сейчас велю принести список откомандированных на этот приём кадетов, – сказал капитан-лейтенант, направляясь к двери.

– Не нужно списка, – остановил его Тютчев. – Я уже выбрал юношу.

– Вот как? – удивился офицер. – А вы знакомы с кадетами?

– Нет. Но этот мне подойдёт. Его фамилия Бошняк. Прикажите ему явиться сюда.

– Но он ведь, возможно, не в списке.

– Значит, внесите его. Или мне нужно за такой мелочью беспокоить светлейшего князя Александра Сергеевича?

Имя морского министра произвело немедленный эффект, и уже через пять минут перед коллежским советником навытяжку стоял тот самый
кадет, которого недавно песочил старый мичман. Капитан-лейтенант Нефедьев сослался на занятость и оставил их наедине. Тютчева это более чем устраивало. Он собирался обработать мальчишку так, чтобы тот не просто выполнил его поручение, но и не проболтался потом никому о деталях. Для этого Тютчеву надобно было снова вызвать на сцену поэта, и лишних тому свидетелей он не хотел – уж точно не капитан-лейтенанта Нефедьева.

Замерший перед ним юноша настолько робел, что неподвижно смотрел куда-то под потолок, стараясь не соскользнуть нечаянно взглядом на сидевшего в кресле сорокалетнего старика.

– Стихи сочиняешь? – прервал наконец молчание коллежский советник.

Лицо мальчика растерянно обмякло, потеряло вдруг всю положенную кадету воинскую устремленность, и на Тютчева безоружно посмотрел слегка напуганный ребёнок. Вместо ответа ребенок нерешительно кивнул.

– Похвально. А мои сочинения знаешь?

Коллежский советник был уверен, что по дороге сюда юноше сообщили, кто его ждёт.

– Так точно! – отчеканил кадет, снова обращаясь в военного человека.

– Какие, например?

Мальчик два раза моргнул, набрал полную грудь воздуха и залпом выпалил:

– Глядел я, стоя над Невой,

Как Исаака-великана

Во мгле морозного тумана

Светился купол золотой!

Декламация его в самом деле напоминала залп корабельных пушек, и этот неуместный в лирике напор поразил Тютчева прямо в сердце. Захваченный врасплох, он ощутил, как на глаза ему набегают слезы, но не потрудился их скрыть. Коллежский советник и вообще-то считал, что вовремя сверкнувшая слеза украшает стихотворение, а тут ему надо было непременно и как можно скорее выстроить мост взаимного чувствования между собой и этим уже удивившим его юношей.

– Бошняк, о котором пишет Пушкин в «Истории пугачевского бунта», тебе часом не родственник?

– Так точно! – снова отрапортовал кадет. – Это мой прадед. Принимал участие в защите Саратовской крепости от разбойника.

Лицо коллежского советника приняло элегический вид.

– Вот так чередуются поколения, – печально сказал он. – Не зная друг друга. Уходят во тьму бесконечною чередой. Только что я потерял отца, а до этого – любимого своего спутника, милую до боли в сердце жену. Ах, как ужасна смерть, как ужасна... Существо, которое любил в течение двенадцати лет, которое знал лучше, чем самого себя, которое было твоей жизнью и счастьем, – женщина, которую ты видел молодой и прекрасной, смеющейся, нежной и чуткой, – и вдруг мертва, недвижна, обезображена тленьем. О, ведь это ужасно, ужасно! Нет слов, чтобы передать это. Я только раз в жизни видел, как умирают... О, юноша, смерть ужасна!

Коллежский советник умолк, а совершенно оторопевший кадет перевёл, наконец, дыхание. За все то время, пока Тютчев разливался перед ним о смерти, о тлении, об ужасе, он не сделал практически ни одного вдоха, инстинктивно задерживая воздух в груди, как будто погружался в темный и холодный морской провал. Старик поднял на него взгляд, оценил силу своего воздействия и с большим удовольствием продолжил. Он давно уже знал, что жертву красноречия нельзя выпускать из цепких щупалец более чем на одну минуту.

– Что ни говори, в душе есть сила, которая не от неё самой исходит. Лишь дух христианства может сообщить ей эту силу... В первую минуту утраты, независимо от возраста, в котором она настигает нас, испытываешь совсем особое чувство покинутости и беспомощности. Ощущаешь себя постаревшим на двадцать лет, ибо сознаешь, что на целое поколение приблизился к роковому пределу... Это была натура лучшая из лучших – душа, благословленная небом.

Кадет, не уловивший того, что старик вещает уже о своём недавно почившем отце, представлял самого себя рядом с телом умершей в каком-то романтическом гроте прекрасной и нежной подруги, и, хотя подруги у него никакой не было, на душе его стало так печально, что он вдруг заплакал.

– Как тебя зовут? – спросил его абсолютно удовлетворённый произведённым эффектом Тютчев.

– Коля, – ответил кадет, вытирая ладошкой глаза.

– Мне нужна твоя помощь, Коля.

На следующий день ровно в полдень группа воспитанников Морского корпуса решительно, как на штурм, вошла во двор Смольного института. Шаг они чеканили с такой яростью, что унтер-офицер интендантской службы, которого отрядили для общего присмотра и соблюдения чина, начал беспокоиться за сохранность выданных всем по случаю новеньких сапог. Грохот мгновенно долетел до распахнутых в долгом и трепетном ожидании окон второго этажа, и все находившиеся в большой зале смолянки повисли на подоконнике. Две классные дамы попытались воззвать к их чувству приличия, однако чувство это, по всей видимости, улетучилось в сей момент в неизвестном никому здесь направлении. Девицы наваливались на подоконник, толкались, подпрыгивали и по какой-то причине были не в силах сообразить, что окон в зале числом значительно больше, чем одно. Княжне Долицыной в сутолоке прищемили ладонь, и она от этого сделалась даже счастливей. Обожание, которому истово предавались девушки в Смольном, начиная со времён императрицы Екатерины, утратило, наконец, эфемерные выдуманные черты и обрело черты реально и даже пребольно ущемлённой ладони. Начала совместной репетиции более восхитительного нельзя было и придумать.

По иронии, присущей вселенной в отношении почти ко всякому жаркому устремлению человека, добровольно оставшаяся на нелюбимое всеми дежурство в кухне Катя Ельчанинова стояла у окна в первом этаже совершенно одна, ни с кем не толкалась, ни из-за какого плеча не выглядывала, а просто и прямо смотрела на подходящих к Смольному кадетов. Те, в свою очередь, не видели никого от распиравшей их важности и желания поразить нежных зрителей флотской удалью, каковой имелось в них по молодости лет преизрядное пока ещё количество. Один только шедший в хвосте колонны Коля Бошняк все замечал и везде посматривал. Он хоть и не был чужд молодецких повадок, надеваемых на себя всяким кадетом, а уж тем более гардемарином, стоило любому из них выйти за ворота корпуса, однако данное коллежскому советнику обещание требовало от него сейчас иной собранности, поэтому на изображение удали внутренних сил у него уже не оставалось. Увидев одинокую фигуру в окне первого этажа, он тотчас решил, что это и есть нужный ему адресат, поскольку от девушки – то ли по причине особенно упавшего на неё солнца, то ли из-за переполнявшего самого Колю восторга – исходило заметное и не объяснимое ничем иным, кроме как тем, что это она и есть, радостное сияние.

Тем не менее на репетиции Коля её не обнаружил. Милой очаровательной блондинки с сияющими волосами не было среди воспитанниц института, выстроенных попарно с кадетами. Милейшая Анна Дмитриевна горячо пыталась убедить начальницу Смольного в том, что пары должны стоять клином, устремляющимся своей вершиной к царской семье, а вовсе не двумя колоннами вдоль стен, как обычно, в то время как Коля озадаченно вертел головой, отчаиваясь уже найти необходимую ему девушку. Коллежский советник настрого запретил ему передавать конверт через третьих лиц. Любая корреспонденция смолянок – как доставленная по почте, так и переданная классным дамам – непременно досматривалась, поэтому Тютчев настоятельно требовал передачи послания из рук в руки. Он объяснил Коле, что девушка желает сделать на приеме сюрприз великому князю и его матушке, а в случае досмотра и преждевременного прочтения сюрприза уж никакого не будет.

Затянувшийся спор между милейшей Анной Дмитриевной и начальницей института разрешился в итоге в пользу последней, и пары были наконец установлены ровными колоннами вдоль стен. Девушки старшего класса, сменившие повседневные зеленые платья на бальные белые, напоминали две гирлянды нежных цветов. Колю поставили рядом с плотной барышней, лицо у которой настолько покрывали белила, что даже брови и губы её отливали смертною белизной. Барышня отчего-то была Колею недовольна и всячески старалась показать ему своё небрежение. Судя по тому, с каким пылом она посматривала в сторону высокого и статного кадета Берга, стоявшего в паре с худосочной зеленоглазой девицей, становилось понятным, что она считала подобную расстановку несправедливостью, зеленоглазую девицу – выскочкой, и, разумеется, предпочла бы иметь рядом с собой Берга, а не задумчивого и крайне не-
внимательного к переходам Колю. Во время репетиции этих переходов он то и дело ошибался, подавал ей не ту руку, плохо следил за её движениями, а когда она опускалась в глубоком придворном реверансе, не всегда успевал выйти вовремя на поклон. Кланялся он от этой своей невнимательности то стене, то соседней девице, которая, кстати сказать, по миловидной внешности гораздо более заслуживала поклона, чем его белёная и уже страшно сердитая визави, а однажды умудрился поклониться швейцару, стоявшему у двери. Мысли его были заняты лишь одним – как улизнуть отсюда и найти ту самую девушку. Со стороны же казалось, что он нарочно не слушает счета шагов, громко ведомого одной из классных дам, и в конце концов это привело к натуральному конфузу.

Спутница его остановилась, не завершив репетируемый поворот, и громко, отчетливо сказала:

– Просто болван какой-то.

– Я не болван, – попробовал защититься Коля, но это было уже не нужно.

– Княжне Утятиной настоящий партнёр достался, – запальчиво продолжала Колина визави, указывая гневным и тоже белёным пальчиком в сторону кадета Берга. – А мне – какое-то чучело.

На этот раз Коля уже не стал возражать, соглашаясь быть чучелом, тогда как милейшая Анна Дмитриевна устремилась в их сторону, расталкивая смешавшихся кадетов и воспитанниц института.

– Княжна Долицына! – воззвала она. – Немедленно вернитесь в позицию!

– Не вернусь, – ответила гордая смолянка и отошла от Коли с такой стремительностью, как будто боялась заразиться от него чем-нибудь.

Несколько девушек тотчас окружили её, составляя ей как бы свиту, остальные в растерянности сбились в стайки, а кадеты беспомощно смотрели друг на друга и на интенданта, прибывшего с ними сюда. Порядок в зале был окончательно разрушен, и Коля внезапно понял, что лучшего момента для исполнения замысла судьба может ему уже не подарить. Незаметно пройдя за спинами своих товарищей, увлечённых ссорой двух княжон и попытками классных дам восстановить мир, он открыл дверь, не охраняемую боле швейцаром, и оказался в просторном коридоре. И в ту и в другую сторону коридор был пуст. Все остальные воспитанницы сидели в своих классных комнатах на занятиях.

Вспомнив, что видел сияющую девушку в окне первого этажа, Коля направился к лестнице. Чем ближе он к ней подходил, тем сильнее подхватывало его необъяснимое ощущение. Ему нравилось все в этом большом пустом коридоре – стены, двери, тишина в классных комнатах. Даже гулкий отзвук его собственных шагов таинственно говорил ему о грядущем счастье. Выйдя на лестницу, он увидел поднимающуюся ему навстречу ту самую девушку. Мир вокруг сделался до такой степени странным, что Коля вежливо кивнул и зачем-то прошёл мимо. Девушка в зеленом платье с небольшим интересом посмотрела на него, кивнула в ответ и скрылась в коридоре. Коля на секунду замер, а затем побежал по лестнице вверх. Ступеней теперь оказалось неизмеримо больше. Их кто-то явно добавил, пока он в растерянности соображал, как поступить.

– Простите! – выпалил он, догоняя девушку. – Я должен передать вам одну вещь!

– Мне? – она остановилась и рассматривала его с таким ровным спокойствием, словно кадеты из Морского корпуса бегали за нею по Смольному каждый день.

– Ну, то есть не вещь... – Коля замялся, потом сообразил, что нужно делать, и выхватил из кармана конверт. – Вот! Это вам.

Девушка взглянула на имя адресата, чуть размытое из-за того, что у Коли от нервов вспотели руки, и покачала головой.

– Это Лене Денисьевой.

– А вы разве...

– Нет. Я – Екатерина Ивановна Ельчанинова.

– Екатерина Ивановна? – совсем потерявшись, протянул Коля.

– Да. А вас как зовут?

– Коля... – начал было он, но тут же спохватился. – Кадет Николай Бошняк!.. Константинович.

Девушка наконец улыбнулась, и мир от её выразительных голубых глаз обрёл равновесие.

– Очень приятно. Если хотите, я могу передать ваш конверт.

Коля безотчетно протянул ей послание коллежского советника, однако тотчас отдернул руку. Поняв свою грубость, он опять сбился,
забормотал что-то невразумительное, поэтому Кате пришлось его остановить.

– Я поняла. Вы должны вручить лично. Боюсь, что сейчас её в Смольном нет. Она теперь живёт отдельно и приходит не на все занятия. Придётся вам подождать.

– А сколько? – он с тоской посмотрел на дверь большой залы, понимая, что его там вот-вот должны хватиться.

– Этого я не могу вам сказать. Нужно смотреть расписание «серого» класса. Она ходит, по-моему, на французский, геральдику и архитектуру.

Разговор их неожиданно прервался громким стуком двери, ведущей в бальную залу. Коля испуганно обернулся, ожидая увидеть своего командира, но грохот устроил вовсе не разгневанный интендант, потерявший своего подопечного, а маленькая княжна Утятина. Хлопнув дверью, она бросилась по коридору, промчалась между отпрянувшими в стороны Колей и Катей, после чего в слезах скрылась за поворотом, бормоча и повторяя на разные лады все одно и то же:

– Поганая душечка! Бессовестная!

Катя покачала головой и сделала своё предположение:

– Должно быть, снова княжна Долицына что-то у неё отняла.

– По всей видимости – Берга, – сказал Коля.

– Берга? А что это такое? – большие голубые глаза ровно смотрели на Колю, и, к его удивлению и даже растерянности, в них не было и тени того смущения, от которого сейчас так страдал он сам.

Его собеседница оставалась естественной во все время их разговора. Её ничто не удивляло, не стесняло, не беспокоило. Любой поворот, любое событие она принимала как должное, словно знала, что это произойдёт, и загодя была готова к тому, что это произойдёт – именно здесь, именно сейчас, именно в такой форме. Колю все больше подавляла эта живая магия и какое-то природное величие в пятнадцатилетней девочке, поскольку в себе он ничего подобного не ощущал.

– Что это – берга? – переспросила она.

– Не «берга», а Берг... Это кадет. Мой товарищ... Ну, то есть мы не совсем товарищи, потому что он... Вернее, потому что я...

– Вы с ним не дружите, – помогла ему Катя.

– Нет, я просто ему завидую, – неожиданно для себя самого признался Коля.

Удивляясь тому, что он это сказал, Коля одновременно чувствовал, что не мог не сказать этого и что не сказать этого именно перед странной девушкой в зеленом платье по какой-то причине было просто нельзя.

– Стало быть, вы завидуете? – переспросила она.

– Да.

– Хорошо, – сказала Катя, повернулась и пошла прочь.

Коле нестерпимо захотелось остановить её и узнать, почему было хорошо то, что он завидовал Бергу, но в этот момент он услышал громкий счёт классной дамы, долетевший оттуда, где шла репетиция, увидел конверт у себя в руке, опомнился и поспешил за девушкой.

– Постойте! – в полном отчаянии окликнул он её.

– Да? – обернулась Катя.

– Не могли бы вы... Мне нужна ваша помощь!

– В чем? – она все так же спокойно смотрела на него.

– Там теперь, понимаете... На репетиции... Снова у всех есть пара...

– Я не понимаю.

– Эта девушка убежала, – он махнул рукой в ту сторону, где скрылась княжна Утятина. – И значит, лишних там никого нет. Они не сразу заметят, что меня не хватает. Теперь есть немножечко времени.

– На что?

– Передать вот это, – Коля указал на конверт.

– Но я ведь уже сказала вам – Лены Денисьевой сейчас в институте нет.

– А я подожду её. Вы только спрячьте меня куда-нибудь, чтобы я глаза никому не мозолил.

– Куда же я спрячу вас? Вы ведь не вещь.

– Ну, не прячьте! Просто укажите местечко, а я там тихонько посижу. А когда она придёт, вы меня позовёте.

Колю хватились только на построении во дворе. Кадеты встали в колонну по трое, чтобы покинуть Смольный, но в одном ряду оказалось всего два человека. Проведя перекличку, унтер-офицер выяснил – кто у него пропал.

– Стихоплёт проклятый! – выругался он и отправился на поиски Бошняка.

Вдвоём с милейшей Анной Дмитриевной он прошёл по всем коридорам, заглядывая в опустевшие уже классные комнаты, побывал в столовой и даже на кухне, проверил кладовые помещения, осмотрел дворницкую – Коли нигде не было.

– А что если ваш мальчик решил сам вернуться в казарму? – высказала резонную в её глазах мысль милейшая Анна Дмитриевна, однако тут же была опровергнута.

– Кадет без спросу по городу один не пойдёт, – отрезал унтер-офицер и задумчиво посмотрел на выглядывавших из дортуара крохотных воспитанниц самого младшего класса, который до реформы императрицы Марии Фёдоровны по цвету платьев носил название «кофейного». – А там у вас что? Мы туда еще не ходили.

– И не пойдём, – даже бровью не повела милейшая инспектриса. – Там одни маленькие девочки, поэтому посторонним вход заказан.

– А туда? – интендант указал на дверь, ведущую в дортуар старшего класса.

– Туда уж тем более.

– Ну, как знаете. Мне ведь не одному отвечать. Начальство у нас хоть и разное, однако ж по такому делу спрос наверняка общий будет.

– Ваш мальчик уже ушёл, – твёрдо ответила милейшая Анна Дмитриевна.

Через несколько минут в дортуар старшего класса заглянула Катя Ельчанинова. Обведя взглядом пустую комнату с двумя рядами кроватей, она склонилась и увидела лежавшего под одной из них Колю.

– Вы зачем туда забрались?

Коля шелохнулся и поднял голову.

– Ушли?

– Да, да, можете вылезать.

– Я подумал – а вдруг они сюда зайдут, – он ящеркой скользнул вбок и встал рядом с кроватью. – Спасибо.

– Не стоит благодарности. Только мне интересно – что вы теперь скажете своему командиру.

– А, ерунда! – небрежно махнул рукой он, однако небрежность эта вышла у него самая неестественная.

Коля знал, что ерундой тут и не пахло. Последствия ожидали его тяжелые, скорее всего, даже по-флотски болезненные, и тем не менее иначе поступить он не мог. Слово, данное коллежскому советнику, обязывало его дождаться Денисьеву, какие бы кары ни грозили ему. Отчаянно страшась того, что ожидало его по возвращении в Морской корпус, он все же действовал согласно своему простому пониманию чести. Впрочем, от своей нежданной помощницы правду о возможных последствиях он решил скрыть, поскольку боялся, как бы она не подумала, будто он рисуется перед ней, желая выглядеть благородным героем. С целью же отвлечь её от дальнейших расспросов он понёс всякую чепуху, потому что выглядеть глупо в её глазах он не боялся. Коля считал, что и без того она видит в нем одного только дурачка.

– Мы, Бошняки, и не в таких переплетах бывали. Батюшка мой в детстве своём пажом был у императора Павла Петровича. И, между прочим, дежурил в Михайловском замке в ту самую ночь.

– В какую ночь?

Коля сделал глупейшее лицо из всех, на какие был способен.

– В ту самую! – трагическим шепотом объявил он. – Никто до сих пор не знает, как он её пережил. Прямо рядом с опочивальней государя пост его находился. Можете себе представить?!

– Нет, не могу. Послушайте, вам надо уходить отсюда. Служба для старших классов вот-вот закончится, и все придут в дортуар. Хотите, я вас в кладовке спрячу. Там, правда, темно, и крысы бывают.

– Хочу, – с готовностью кивнул Коля. – Вы только дайте мне знать, когда она придёт.

Ни на одном из посещаемых ею прежде занятий Лена Денисьева в тот день так и не появилась. Преподаватель геральдики заочно поставил ей дурную отметку за герб Корчак, эскиз которого она должна была сдать, а Коля напрасно просидел до самого вечера в кладовой комнате. Крысы поначалу тревожили его шуршанием то в одном, то в другом углу, но со временем он привык, и шуршание отчасти даже его развлекало. Несколько раз он ощущал, как что-то мимолетно касается его ног, энергично пинал темноту, отбрыкивался, неизбежно представляя крысу, ползущую вверх по сапогу и штанам, и опять затихал, чтобы не привлекать внимания. Через два или три часа после начала своего добровольного заточения он решил перейти в атаку. Крысы к тому моменту совсем осмелели, поэтому требовались уже решительные действия. Дождавшись, когда снаружи не слышно будет ни голосов, ни шагов, он резко бросался в ту сторону, где шуршало, топал изо всех сил в надежде раздавить сапогом что-нибудь живое и всякий раз радовался, что этого не произошло. В итоге крысы все же оставили его в покое, и следующие несколько часов Коля провёл пусть и скучно, зато в безопасности.

Заслышав какие-нибудь шаги, он теперь оживлялся, торопливо приводил себя в порядок, принимал непринужденную, по его мнению, позу, а потом слушал, как эти шаги удаляются и вместе с ними удаляется всякая надежда проскользнуть в казарму до закрытия главных ворот. Катя пришла выпустить его уже ближе к ночи.

– Вам лучше через дворницкую пройти, это соседняя дверь, и потом –
сразу к Неве. В Монастырском переулке фонари, вас там заметят.

Коля послушно проследовал за ней.

– Не приходите сюда больше, – попросила его Катя, отпирая для него дверь на улицу. – Мне из-за вас пришлось украсть ключ.

– Я не приду, – сказал он. – Только мне нужно все-таки конверт передать.

– Но вы же хотели из рук в руки.

– Теперь, видимо, не получится. Сможете выручить в последний раз?

Катя вздохнула:

– Я ведь с самого начала предлагала так поступить.

– Вы умная, а я – болван.

В темноте она не увидела его улыбки.

– Хорошо, давайте его сюда, – Катя протянула руку, и он вложил в нее порядком уже потрёпанный конверт.

– Спасибо. Вы – чудесная.

Коля медлил на пороге. За спиной у него блестела в реке луна.

– Уходите, пожалуйста. Мне надо дверь закрыть.

Он снова расплылся в счастливой улыбке и шагнул за порог.

– Только обязательно передайте. Это от поэта Фёдора Тютчева.

Закрыв за ним дверь, Катя задумчиво стояла несколько минут посреди дворницкой, затем стала решительно искать что-то на полках, заваленных подсобным скарбом, нашла там железную лопатку и спички, чиркнула несколько раз и подожгла конверт. Глядя на огонь, танцующий на лопатке, она вспоминала лицо Даши Тютчевой в тот момент, когда та бросилась на Денисьеву; вспоминала опустевший взгляд Анны Дмитриевны и склоненную голову её племянницы; и только лица самого Тютчева Катя никак не могла вспомнить, словно у этого господина вовсе и не было лица.

Коля тем временем почти бежал по ночному городу, сильно размахивая руками и прерывисто выдыхая стихи, которые успел заучить, не удержавшись и заглянув как-то совсем ненароком в конверт, пока лежал под кроватью.

Люблю глаза твои, мой друг,

С игрой их пламенно-чудесной,

Когда их приподымешь вдруг

И, словно молнией небесной,

Окинешь бегло целый круг...

Вторую часть этого стихотворения он запоминать не стал. Она показалась ему неприличной и оскорбительной. Он если и понимал что-то про «угрюмый, тусклый огнь желанья», то это не было связано и никаким образом не могло быть связано с Катей, которая плыла сейчас рядом с ним над мостовой, а он все повторял и повторял строчки о ее глазах и был совершенно не в силах остановиться.

1. Рабочее название книги, которая готовится к публикации в издательстве «Городец» осенью 2017 года. [↑](#footnote-ref-1)